

A detailed illustration of a woman in a dark coat standing on a wet cobblestone path, looking towards a large, old, and somewhat dilapidated house at night. The house has several windows with warm, yellow light glowing from inside. The entrance is a small porch with a glass door and a semi-circular window above it. The scene is atmospheric, with bare trees and a dark sky. The title 'Звук в конце туннеля' is written in large, white, serif font across the upper part of the image.

Звук в конце туннеля

ИГОРЬ ТАЛАНОВ

Игорь Таланов

Звук в конце туннеля

<https://litres.ru/74300709>

SelfPub; 2026

Аннотация

Айя никогда не видела. Для нее не существует даже темноты. Зато она слышит дом насквозь: шаги за стеной, дыхание за закрытой дверью, дрожь фальшивой ноты.

С детства рядом с ней - тихий голос без формы и имени. Он находит потерянное и предупреждает, когда близко опасность.

История о девушке, которая слышит больше, чем другие видят, и о выборе без права передумать.

Содержание

Глава 1. Ключи и сквозняк	4
Глава 2. Ноты Брайля	11
Глава 3. Скрипка без имени	24
Глава 4. Эхо	36
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Игорь Таланов

Звук в конце туннеля

Глава 1. Ключи и сквозняк

С кухни потянуло горелой кашей, и отец, стало быть, опять забыл про плиту. Айя поняла это раньше, чем до нее дошла гарь, потому что кастрюля перестала булькать и начала скрести - сухо, царапающе, будто по дну водили ногтем. Она отложила смывчок, нашла трость и вышла в коридор, а из кухни навстречу ей пахнуло жаром, паленым и сквозь все это папиным одеколоном, тем самым горьким апельсиновым, который он держал якобы для праздников, а пользовался им каждое утро без исключения.

- Пап, плита.

Он загремел кастрюлей и пробормотал что-то себе под нос. Айя постояла в дверном проеме, привалившись плечом к косяку, и послушала, как отец воюет с завтраком: ложка скребет по металлу, вода из крана шипит на раскаленном дне, потом короткий сдавленный вздох.

- Ань, прости. Я хотел нормально.

- Да ладно.

- Нет, ну она же стояла пять минут. Пять минут, Ань!

- Двенадцать.

- Откуда ты...

- Оттуда, - сказала она и ушла к себе, потому что каша была ерундой, а вот у скрипки с утра поплыла четвертая струна, и вместо чистого «ми» инструмент теперь сипел, как простуженный, - и это, в отличие от каши, было серьезно.

Окно у нее оказалось приоткрытым, она поняла это по расслоившемуся воздуху: снизу, от пола, тянуло холодным, а сверху стояло теплое и почти душное. Сентябрь у них всегда был такой, ни то ни се; мама в свое время называла эту неделю «межсезонье - хоть волком вой», и говорила, надо признать, точно. С залива несло водорослями и ржавчиной. По вечерам дворы-колодцы принимались гудеть, и дом при этом мурлыкал себе под нос одну и ту же заунывную ноту, никак не мог ее домурлыкать и бросить тоже не мог.

Она провела пальцами по деке. Дерево было теплым, а там, где лак стерся, чуть шершавым, и скрипку эту она знала лучше, чем, наверное, знала бы собственное лицо: все царапины наперечет, каждый изгиб, запах канифоли, когда та греется под смычком. Лица своего она не видела ни разу.

Врачи так и не сумели объяснить, в чем дело: глаза здоровы, нервы целы, а сигнал где-то по дороге теряется, и где именно - науке пока неизвестно. По клиникам ее возили лет до двенадцати, потом родители перестали, устав смотреть, как очередной профессор в очередном белом кабинете разводит руками, а Айя сидит рядом совершенно спокойная.

Тьмы она, кстати, тоже не видела, никакой. Тьма - это ко-

гда свет был, а потом взял и пропал; а если его не было изначально, то там и нет ничего, даже черноты.

Зато со звуками все обстояло прекрасно, их хватило бы на десятерых. Дом был старый, дореволюционный, с толстыми стенами и потолками, до которых не докричишься, и характер у него имелся вполне определенный. По утрам он щелкал батареями, сначала на кухне, потом в коридоре, потом добирался до ее комнаты, будто просыпался частями и не сразу вспоминал, где у него что. Днем в шахте гудел лифт, утробно, как большой зверь на привязи. Зверь этот за прошлую зиму вставал четыре раза, и один раз вместе с соседкой с верхнего этажа внутри.

Соседей Айя знала по шагам, так было надежнее, чем по голосам. Соседка сверху ходила так, будто забивала сваи, а здоровалась всегда одним и тем же:

- Аечка! Ты кушала?

И, что бы ты ни ответила, отвечала:

- Ну вот и молодец.

Снизу жил студент, легкий и вечно опаздывающий, шаги смазанные, как дробь; имени его в подъезде не знал никто, звали «этот, снизу». Слева была семья с ребенком - топот, визг, и мамин голос, мягкий, теплый, будто завернутый в шерсть.

А в то утро отец искал ключи, и слышно это было великолепно. Он хлопал себя по карманам, сначала по брюкам, потом по куртке. Выдвинул ящик в прихожей - там звякну-

ли не те ключи, - задвинул обратно с досадой. Зачем-то сходил на кухню, постоял там безо всякого дела, вернулся. Шаги участились.

- Ань, ты мои ключи не трогала?

- Нет.

- Я же их сюда клал. Я их всегда сюда кладу.

Ящик выдвинулся снова, и что-то упало на пол с глухим стуком - легкое, не металлическое, обувная щетка, наверное.

Он нервничал, и это тоже было слышно, по дыханию: рваному, короткими толчками через нос. Опаздывал. В последнее время он опаздывал постоянно - новая должность, вечная гонка, попытка успевать везде, которая, честно говоря, удавалась ему плохо.

Она отложила трость и встала посреди комнаты.

Если перестать слушать самое себя - дыхание, стук в груди, шорох ткани при каждом движении, - начинаешь слышать дом, причем не так, как слышат его обычные люди, а глубже, будто снимаешь слой за слоем. Холодильник на кухне гудел ровно и низко. В дальней комнате форточка была приоткрыта примерно на два пальца, и оттуда тянуло еле заметным сквозняком, той самой разницей давления, которую не всякий уловит. Паркет под ногами потрескивал, потому что дерево живое, оно оседает и дышит. В ванной капало из крана раз в пять секунд, и папа обещал починить его еще в мае.

А на самом краю слуха обнаружился металл.

- Пап, - крикнула она в коридор, - а ты вчера в кабинет заходил?

- Что? Заходил, наверное. Я не помню, Ань, я вчера вообще не помню ничего.

Звон был тонкий и нерегулярный, так звенит подвешенная вещь, когда ее задевает ветер: то стукнет обо что-то, то отойдет. Шло из кабинета, и туда она и пошла.

В кабинете пахло бумажной пылью и тем самым одеколоном, который въелся в обивку кресла так основательно, что выбить его оттуда не смогло бы уже никакое проветривание. На пороге звук сделался отчетливее: латунное колечко брелочка покачивалось на деревянном крючке у окна, и сквозняк его исправно задевал.

- Они здесь. На крючке у форточки.

Отец замер где-то в коридоре, потом быстро прошел мимо нее, тяжело и торопливо, скрипнула дверца шкафа, и ключи звякнули у него в ладони.

- Ты откуда знаешь?

- Ты сам их туда вчера повесил.

- Я не вешал.

- Повесил.

Вчера точно шел дождь: отец вернулся поздно, с зонта капало мерно и тяжело, он скинул куртку, и мокрая ткань повисла на стуле с таким характерным весом, потом шаги в кабинет, потом глухой стук - ключи легли то ли на полку, то ли на крючок. Все это запомнилось само, без ее участия, как

запоминались сотни других мелочей.

- Ладно, - сказал отец. - Ладно.

Он подошел и положил ладонь ей на плечо, тяжелую и теплую.

- Уникум ты у меня, Анька.

- Опаздываешь, уникам.

- Да знаю я, знаю.

Когда за ним хлопнула входная дверь, Айя еще постояла в кабинете. Сквозняк трогал волосы, холодный, влажный. Она нащупала шпингалет и закрыла форточку, и звук металла о металл вышел резким, окончательным, как точка в конце предложения.

Вот тогда она это и почувствовала. Не звук и не запах, и воздух тут был ни при чем, - скорее уж чужой взгляд: будто в комнате кто-то стоял и смотрел на нее, задержав дыхание. Только дышать там было решительно некому. Она слышала всю квартиру до последнего шороха, каждое сердцебиение - свое, и больше ничье. И тем не менее кто-то там был.

Чувство это приходило к ней с самого детства, редко и обычно на границе сна и утра, когда тело уже проснулось, а голова еще нет. Не человек - что-то без формы, которую можно было бы хоть как-то назвать.

Она мотнула головой и пошла на кухню.

По дороге она все-таки остановилась у зеркала - старого, в тяжелой раме, которую мама когда-то приволокла с блошиного рынка и полгода потом ею гордилась, а отец полго-

да ворчал, что за такие деньги можно было купить холодильник. Зеркало Айя знала на ощупь: резные завитки, трещина в нижнем левом углу, шершавая позолота, местами облезшая до дерева. Она приложила ладонь к стеклу, и оно оказалось холодным, как всегда.

- Ну и кто там? - сказала она вслух, чувствуя себя при этом полной душой.

Никто, разумеется, не ответил, и стало легче.

Она опустила руку, дошла до кухни и поставила чайник, и ощущение чего-то лишнего вернулось опять. Все предметы стояли на местах и звучали ровно так, как им положено, и все-таки было что-то еще, чему тут быть не полагалось, а что именно - не поймешь. Чайник закипал, мелко подрагивая крышкой. Обычное утро понедельника в городе, где осень пахнет ржавчиной и водорослями.

Глава 2. Ноты Брайля

У двери Эрнеста Борисовича пахло лаком и старой обувью, и за столько лет Айя так и не разобралась, какой запах откуда берется. Лак тянуло из мастерской, где старик подклеивал ученические скрипки и ворчал, что дети их калечат, а банку он закрывать не считал нужным. Обувь жила в прихожей отдельной жизнью - четыре пары гостевых тапок, купленных, судя по фасонам, при разных генеральных секретарях, и на балкон их, кажется, не выносили ни разу. Свои она нашла сразу, растоптанные, с вышитыми розами по всему верху; левый протерся на большом пальце еще зимой, дырка потихоньку росла, но выбрасывать их никто не собирался.

- Анечка! - крикнул он из комнаты, и голос был как всегда: низкий, хриплый и при этом до странности живой, будто по контрабасу шарахнули смычком не в той тональности, а он все гудит и никак не уймется. - Проходи, проходи. Чай будешь? У меня сушки свежие. Почти.

- Почти - это как?

- Почти - это со вторника.

- А сегодня?

- А сегодня пятница, - сказал он без малейшего смущения.

- Садись, чего ты столбом-то.

Сушками и правда пахло, а еще мятой: он жевал жвачку перед учениками, чтобы освежить дыхание, и был свято уве-

рен, что это работает. Айя усмехнулась и пошла к роялю, не доставая трости.

Эта квартира была единственным местом на свете, где трость ей не требовалась. Тут ничего не двигалось лет пятнадцать, а может, и дольше: рояль в трех шагах левее двери, этажерка с нотами справа у окна, кресло с продавленным сиденьем в углу, и продавленность его была величиной постоянной, как ускорение свободного падения. У знакомых мебель имела мерзкую привычку переезжать - стул отодвинули, сумку бросили на пол, - и каждый такой стул оказывался маленьким предательством, о котором никто, кроме нее, не догадывался. А тут музей. Мавзолей вещей, и ей это нравилось.

Вокалом Эрнест Борисович занимался уже на пенсии, а до того много лет был хормейстером: камерный хор, гастрели по области, один раз даже тот самый круглый зал с лепниной и желтыми креслами, про который рассказывала мама. Потом что-то у него случилось, то ли голос сел, то ли надоело; Айя не спрашивала, он особо не рассказывал, и обоих такой расклад устраивал. Теперь у него были частники, и любили его решительно все - от семилетних девочек с бантами до взрослых басов, которые приходили якобы разучивать арии, а на самом деле пожаловаться на жизнь и попить чаю.

Айя была любимицей. Поначалу ей казалось, что из жалости, - она вообще долго все подряд списывала на жалость, лет до тринадцати, - а потом однажды он сказал ей: «Ты у меня

одна тут слышишь, остальные слушают», и она успокоилась. Когда он объяснял про диафрагму, она чувствовала ее ход. Когда про резонаторы - ловила, как звук ходит в костях лица.

Сегодня, впрочем, ему было не до резонаторов. Он шелестел бумагами на этажерке своими сухими музыкантскими пальцами, которые умудрялись шелестеть, даже когда он просто тер их друг о друга. Звук был из детства, из той же коробки, где папа нервничал, а мама вздыхала.

- Черт, - сказал он себе под нос. - Ну куда я ее дел? Ань, ты в понедельник не заметила... господи. Извини.

- Да ничего.

- Нет, ну как я сказал, а.

- Что вы ищите-то?

- Тетрадь. Нотную, с Брайлем.

- Ту самую?

- Ту самую, других у меня нет. Полгода ее выписывал, там весь осенний репертуар и пометки карандашом. Вчера вечером перебирал, куда-то положил - и все. Провал. Склероз, чтоб его совсем.

Он выдохнул. Досады в этом выдохе было куда больше, чем он хотел показать, а тон Айя знала наизусть: так дышал папа над потерянными ключами, так вздыхала мама, не находя заколку. Забывчивости взрослые почему-то стыдились до неприличия, будто вся их взрослость держалась на умении помнить, куда положена очередная ерунда.

- Давайте помогу.

- Да как ты поможешь, милая? Я вон глазастый - и то не вижу.

- Зато я слышу.

Он хмыкнул, но спорить не стал. Однажды она уже сообщила ему, что слышит, как остывает чайник, - не чайник, разумеется, а металл, который при этом сжимается, - и старик тогда качал головой минут пять, потом махнул рукой и как-то незаметно привык. Со странностями у нее вообще было много.

Она села на круглый табурет, выпрямилась и расслабила веки. Открывать глаза смысла не было ровным счетом никакого, но так меньше отвлекало.

И квартира зазвучала.

Эрнест Борисович переступил с ноги на ногу, и половица под ним скрипнула дважды, потому что под одной доской там была пустота. Штора шевельнулась у приоткрытого окна, коротко потерлась о подоконник. Где-то кварталах в трех завывала сигнализация, повыла немного и заткнулась, будто решила передумать. А дверь в комнату была прикрыта неплотно, из щели тянуло холодным, коридорным, и сквозняк этот чего-то там касался.

Айя наклонила голову. Поток был слабый, кожей его почти не возьмешь, но фон от него менялся, и все, что попадало в струю, начинало вибрировать иначе. Особенно бумага - самый болтливый материал на свете, потому что она шуршит даже тогда, когда ее никто не трогает.

- Не шелестите минутку, - попросила она.

- Чего?

- Пойдите спокойно.

Он замолчал, и стало слышно лучше. На нижней полке этажерки лежало несколько листов, тонких и шершавых, в выпуклых точках, и точки цеплялись за воздух, сопротивлялись ему, и получалась не то тень, не то рябь, тише некуда. Человек с обычным слухом такого не разобрал бы. И было там еще кое-что помимо звука, какой-то толчок, будто ей легонько надавили пальцем на висок и сказали: там.

- Она на нижней полке, с краю. Раскрытая, и страницы шевелятся от сквозняка.

Старик замер.

- С чего ты взяла?

- Да вы подойдите просто.

Он недоверчиво кашлянул, прошелестел тапками к этажерке и наклонился с кряхтением, потому что спина у него была уже не та, и она услышала, как пальцы касаются бумаги.

- Матерь божья, - выдохнул он. - Она самая. Анька. Ну как ты, а?

- Говорю же, слышу.

- Что ты слышишь, она же не звенит!

- Не звенит.

- Ну и?

Айя пожала плечами, потому что объяснить это было решительно нечем. Слышала она не звук, а движение звука,

перемену в потоках, и точки Брайля, те самые, которые она когда-то разбирала пальцем по слогам и от души ненавидела, выдавали себя каким-то еле уловимым эхом. Или не выдавали, а ей просто подсказали. Внутри дзынькнуло, тонко, на самой границе, и она отмахнулась.

- Феноменально, - пробормотал он и тут же, без всякого перехода: - Так, ладно. Я эту тетрадь теперь к столу клею приклею, честное слово. Распелась?

- Еще нет.

- Тогда начнем. «Ми-ме-ма-мо-му», в до мажоре, в твоём любимом. И чтоб без фальши мне тут.

Дальше пошло как обычно. Она встала посреди комнаты, положила ладонь на живот, а старик принялся кружить вокруг, недовольный решительно всем.

- Выдох! Ну куда выдох? Ты не шарик сдуваешься, ты звук рождаешь. Звук на опоре стоять должен, как дом на сваях: сваи сгнили - и дом сложился. Еще раз. Вдох - живот вперед, плечи не задирай, кому говорю.

Плечи она все-таки задрала, за что немедленно получила.

- Теперь тяни «с». Долго. Как змея.

- Как кто?

- Как змея. Ты слышала когда-нибудь, как змея шипит?

- Нет.

- И слава богу. Вот и представь, что ты змея. Только красивая. И музыкальная.

Айя прыснула. Змей она никогда не трогала и не собира-

лась, но идея ей понравилась, и «с» вышло длинное, секунд на двадцать.

Потом был вокализ, вверх и вниз, и она ловила каждый полутон, как ступеньку под ногой. Эрнест Борисович аккомпанировал и местами фальшивил.

- У вас «фа» врет.

- Знаю, что врет. Настройщик приходил в марте, взял деньги и уехал. Пой давай, не отвлекайся.

А потом романс. Голос у нее был не сильный, зато чистый до неприличия. Старик слушал, останавливал, поправлял - и вдруг замолчал на полуслове.

- Так. Погоди.

- Что?

- Еще раз последнюю фразу.

Она спела еще раз.

- Знаешь, - сказал он, - тембр у тебя сегодня какой-то. Не пойму какой. Будто с тобой кто-то третий поет.

- В смысле?

- Да в прямом. Обертон. Я такое только у старых итальянцев слышал, они, говорят, специально так пели, чтобы ангелы подпевали. У тебя сегодня итальянский вариант. Мистика какая-то.

Она промолчала, а внутри дзынькнуло снова, и в этот раз погромче.

Чай пили из синих чашек с золотой каймой - фамильные, из прабабкиного сервиза, не вздумай разбить, у меня

их шесть, а было двенадцать. Заварка была густая, почти чифирь, а сушки и вправду оказались почти свежими. Айя грызла и слушала про бывшую ученицу, которая уехала в столицу и поет теперь в хоре при каком-то театре: в голосе была гордость и совсем немного зависти, потому что он любил, когда ученики вырастали, и терпеть не мог, когда они уезжали.

- Все, Анна, иди, - сказал он наконец. - Мне еще с Витькой из тридцать второй мучиться. Помнишь Витьку?

- С лягушкой?

- С ней самой. Но мама платит, а мама - святое.

В прихожей, пока она переобувалась, он взял ее за руку и подержал на пару секунд дольше, чем следовало.

- Ань. Я вот что спросить хотел. Ты правда слышала, где тетрадь? Или как-то иначе?

- Как это иначе?

- Ну не знаю. Почувствовала. Догадалась. Может, я сам проболтался, а ты запомнила и забыла, что запомнила, так бывает.

- Вы не проболтались. Я слышала.

- Услышала, - повторил он и руку отпустил. - Ну-ну. Аккуратнее там.

За спиной хлопнула дверь, и лязгнул замок - он всегда запирался сразу, привычка старого человека.

До дома было пятнадцать минут неспешным шагом: от парадной направо, вдоль сквера, мимо булочной, где всегда

пахло корицей, и через мост. Дорогу она знала до последней трещины в асфальте и шла, постукивая тростью, и думала о том, что такое случается все чаще. Ключи. Тетрадь. Еще раньше мамина заколка, которую папа искал полгода, а нашел ровно там, где сказала Айя, и потом три дня шутил про это за ужином.

Интуицией назвать не получалось. Интуиция говорит смутно, вроде «кажется, я утюг не выключила», а тут была конкретика: нижняя полка, с краю, у окна. И приходила эта конкретика не как догадка, которую надо еще проверить, а как готовый ответ, будто кто-то сунул ей в голову решенное уравнение вместе с ответом в конце учебника.

Во дворе-колодце было тихо, только голуби топтались по карнизу и переговаривались. В детстве Айя думала, что голубь - это такой мохнатый шарик, который воркует горлом, а когда папа объяснил про перья, крылья и клюв, обиделась: перья и клюв показались ей слишком сложным устройством для такого простого звука.

Она села на скамейку и попробовала восстановить все по порядку. Вот старик шуршит бумагами. Вот она слушает комнату и просит его постоять спокойно. И вот оно - знание, четкое, как карта местности, которой у нее в принципе никак не могло быть.

И знание было не ее. Пришло снаружи. Или изнутри, но все равно не от нее.

- И что мне с этим делать? - спросила Айя вслух.

Голуби на карнизе не отреагировали никак. Они вообще ни на что не реагировали, кроме еды.

Страх оказался совсем не киношный, без криков и беготни. Тихий такой, холодный, как сквозняк из-под двери, и от него хотелось не бежать, а наоборот, сидеть неподвижно и не отсвечивать. Скамейка была мокрая, но вставать она не стала.

В пять лет она однажды проснулась среди ночи и поняла, что в комнате кто-то есть.

- Мам, - сказала она тогда, - тут кто-то стоит.

- Где стоит?

- Вон там.

- Показалось, солнышко. Спи.

Не показалось. Кто-то стоял рядом, молча, и просто ждал, а на следующую ночь его уже не было - или он затих. Потом появлялся изредка, всегда молча, как тень в шуме дождя.

Она про это не рассказывала никому, даже родителям. Потому что как это произносится вслух: мам, у меня в голове кто-то живет. После таких разговоров едут не в консерваторию, а совсем в другое место.

Теперь он заговорил. Не словами, слова были бы слишком по-человечески; он обходился теплом в висках, легким давлением, иногда почти музыкальным тоном, который возникал и гас. И сегодня, пока она искала тетрадь, он сказал ей: там. Не вслух. Но она услышала.

По дороге домой вспомнилось еще, как в семь лет она

расшибла коленку, а за секунду до того внутри прозвучало: осторожно, ступенька. Тогда она решила, что это ее собственная мысль, просто быстрая, а может, и вовсе додуманная задним числом, когда уже сидела на земле и ревела. Теперь она в этом сомневалась.

Дома было пусто, папа задерживался, на автоответчике висело его сообщение: «Ань, я к девяти, поешь там без меня». Есть не хотелось. Она прошла к себе, скинула туфли и легла.

Потолок над ней был белый и высокий, так ей говорили. Для нее он был просто пространством над головой, которое давит или не давит в зависимости от высоты, потому что звук от него возвращается по-разному. Сегодня давило.

Она лежала и считала случаи, и набралось их больше, чем она думала. Он подсказывал, где лежит то, что потеряли. Предупреждал - та самая ступенька, потом машина. Один раз вытащил ее на литературе, когда она разобрала стихотворение так, что получила пять, а учительница потом читала ее ответ вслух всему классу, и Айя сидела молча, потому что сама не очень поняла, откуда взялись выводы.

И ни разу не назвался. Ничего не попросил взамен.

В конце концов она собралась и спросила напрямую, не вслух, а внутри: кто ты?

Сначала не было ничего.

Потом пришло тепло, растеклось от висков к затылку, будто ей положили на голову ладони. И в тепле оказался ответ

- огромный пустой зал, и где-то далеко в нем звучит струна. Одна. Такая длинная, что конца у нее, кажется, нет вообще.

Айя села на кровати. Сердце колотилось, в горле пересохло, и вот теперь страх пришел настоящий - липкий, подкапывающий к самому горлу. Потому что ответ она получила, а выдумать такое не смогла бы при всем желании.

Бежать к папе? И сказать что - пап, со мной с детства разговаривает непонятное нечто? Он вызовет врача. Врачи, те самые, которые разводили руками над ее зрительными нервами и говорили маме «ну вы понимаете», назовут это галлюцинациями, и дальше будет только хуже.

Она стиснула зубы и просидела так довольно долго. Паника уходила медленно и неохотно, как уходит вода после наводнения, оставляя ил, мусор и запах.

Часов в девять хлопнула входная дверь.

- Ань! Ты поела?

- Поела, - сказала она.

- Ну молодец. Я спать, завтра рано.

Она послушала, как он возится в ванной, как скрипит под ним кровать, как он ворочается и затихает, и позавидовала ему до слез.

Уснуть в ту ночь не вышло. До утра в голове крутились обрывки мыслей, звуков и каких-то совсем посторонних воспоминаний, а когда за окном завопились воробьи, которых она узнавала по деловитому чириканью, Айя легла обратно и закрыла глаза.

Больше он не отвечал. Но она знала, что он там и был там всегда, и самым жутким оказалось даже не то, что он наконец заговорил. А то, что одиночество, которое она столько лет считала своим, всю дорогу было ненастоящим. Рядом все это время кто-то стоял и слушал.

Глава 3. Скрипка без имени

Телефон зазвонил в понедельник, в самом начале десятого, когда Айя доедала бутерброд и слушала, как за стеной ругаются соседи.

- Ань, у меня беда. Ты скрипку из мастерской Гольдберга помнишь?

- Здравствуйте для начала.

- Да, да, здравствуй. Помнишь?

Голос у него был не тот, и она это слышала раньше слов. У треснувшего инструмента всегда меняется тембр, и никакой бодростью такое не замажешь.

Скрипку она помнила. Гольдберг держал магазинчик на Старом переулке, там пахло деревом, воском и столетней пылью, которую не выметешь никакой уборкой. В прошлом году старик ее туда затащил - потрогать нормальные инструменты, а не ученические деревяшки. Гольдберг открыл витрину и надавал ей скрипок в руки, штук пять подряд, приговаривая «осторожненько, осторожненько», хотя держала она их куда бережнее, чем он сам.

Одна была холодная как лед и пахла лаком так, что щипало в носу. Вторая теплая, почти живая. А третью она чуть не выронила, потому что та отозвалась на прикосновение раньше, чем на смычок.

- Та, с узкой талией? Которая внизу пела человеческим

голосом?

- Она. Украли.

- Как украли?

- Вот так. Вчера, или ночью уже. Гольдберг утром пришел открывать - замок целый, витрина целая, а скрипки нет. И главное, Ань. Больше ничего не взяли. Рядом две французские виолончели лежат, каждая как квартира стоит. Не тронули. А скрипку унесли.

- Странно.

- Странно! - сказал он с таким торжеством, будто она подтвердила давнюю его правоту, о которой все забыли.

Дорогой та скрипка не была, Гольдберг сам говорил: автор неизвестный, итальянская школа, а чья конкретно - поди установи. Зато звук. Эрнест Борисович, послушав ее однажды, просидел молча минут двадцать, а потом сказал, что эта скрипка знает что-то, чего они не знают. Айе тогда стало не по себе, и она долго не могла понять почему.

- А я тут при чем?

- При том, что там полиция уже. Следователь. Молодой, хмурый такой. Все осмотрел и говорит: следов взлома нет, значит, кто-то из своих. Теперь допрашивает подряд - меня, Гольдберга, продавцов, учеников. Я подумал... - Он замялся.

- Ань, ты нужна здесь. Просто послушать.

- Послушать что?

- Ну ты же слышишь иногда то, чего мы не слышим. Тетрадь вон нашла.

Вот этого она и боялась.

Четыре дня Айя честно уговаривала себя, что ничего тогда не было, а если и было, то не с ней. Так обычно и выходит: проснешься, услышишь, как дождь колотит по жестяному карнизу, и ночные страхи оказываются ерундой, тенью от занавески, чем-то, о чем потом стыдно вспоминать. Она запретила себе думать про тот вечер и почти справилась. Мешало только тепло, которое время от времени заводилось в висках. Оно не пугало, оно напоминало - так ноет старый шрам к дождю.

- Я не сыщик, Эрнест Борисович.

- А я не балерина. Гольдберг там места себе не находит, говорит, скрипка ему была как член семьи.

За окном тарахтел мусоровоз. Айя дождалась, пока он уедет.

- Ладно. Если это хоть чем-то поможет.

Он пришел через час. У них так было заведено: надо куда-то выбраться, а папа на работе - старик или брал такси, или, если погода позволяла, приходил ногами. Сегодня повезло: дождь кончился, вылезло робкое сентябрьское солнце, и он явился сам, в своем вечном драповом пальто, от которого пахло нафталином и примерно всем двадцатым веком.

- Ань, я внизу! Спускайся, только осторожно, тут скользко, я подстрахую.

Подстраховать ее он мог разве что морально, потому что

весил килограммов шестьдесят вместе с пальто, но говорить об этом было бы невежливо. Она спустилась, держась за перила, нащупала знакомый локоть - тонкий, но крепкий, как сухая ветка, - и они пошли.

До магазина минут пятнадцать: направо от парадной, вдоль сквера, через арку и сразу налево. Старик почти всю дорогу молчал, только у арки сказал:

- Там полиция. Ты не пугайся.

- Да чего мне пугаться.

- Ну мало ли.

Она и не пугалась. Занимало ее совсем другое - то, как напряглось что-то внутри еще на подходе, задолго до дверей.

У входа Эрнест Борисович остановился и зачем-то поправил на ней шарф.

- Ну, с богом.

Магазин сидел на первом этаже старого доходного дома, и, чтобы попасть внутрь, надо было одолеть тяжелую дубовую дверь, обитую железными полосами, а потом спуститься на три ступеньки. Пахло деревом, канифолью и чем-то еще, неуловимым. Временем, наверное. Этот запах Айя знала с детства, с первого прикосновения к скрипке, когда внутри у нее что-то задрожало и, честно говоря, не перестало до сих пор.

Сегодня к нему примешалось чужое: мокрые плащи, сырость, чей-то резкий одеколон. И металл - не музыкальный, а казенный. Жетон, ключи, пряжка ремня.

- Здравствуйте. Следователь Кирсанов, Максим Сергеевич. А вы, как я понимаю, та самая Анна Соболева?

- Почему «та самая»?

- Мне про вас уже полчаса рассказывают.

- И что рассказывают?

- Разное, - сказал он.

Голос был молодой и загнанный, из тех, которым второй день не дают выспаться.

- Она самая, она самая, - отозвался Эрнест Борисович из глубины зала. - Ань, проходи. Тут у нас... ну, ты сама слышишь.

Она прошла, ведя тростью по полу. Плитка, стык, деревянный пол, ковер у прилавка. Все знакомое, только какое-то встревоженное, будто перед грозой.

Кирсанов ей сразу не понравился, хотя первое впечатление врет чаще, чем говорит правду, - это Айя усвоила еще в школе. Сухость в нем была, а равнодушия не было, и любопытство он прятал старательно, но не до конца. Двигался экономно, не топтался, руками не размахивал. Такие обычно доводят дело до конца, даже когда оно надоело им на третий день.

- Эрнест Борисович сказал, вы можете помочь. - Голос шел от окна, это она определила по легкой реверберации.

- Он преувеличивает.

- Он сказал, вы слышите то, чего не слышат другие.

- Все слышат то, чего не слышат другие. Просто никто над

этим не задумывается.

Пауза. Кирсанов, кажется, усмехнулся, но куда-то в сторону.

- Философски, - сказал он. - Ладно. Что мы имеем. Магазин закрыт с вечера, замок не взломан. Сигнализация не сработала по той причине, что ее тут нет, хозяин пожалел денег. Витрина заперта на ключ, ключ, по словам Гольдберга, всегда при нем. Но витрина открыта, скрипки нет. Значит, до ключа кто-то добрался. Больше не пропало ничего. Ваши мысли?

- Никаких, - честно сказала Айя. - Я не думаю. Я слушаю.

- Это как?

- Молча.

Она отошла от прилавка и встала посреди зала. Тут было тихо, если не считать дыхания трех человек, дождя за окном и дальнего гула машин, но тишина была не пустая, а наполненная. Инструменты, даже молчащие, держат вокруг себя плотное поле: каждая скрипка, каждая виолончель, каждая флейта в витрине резонирует по-своему, и вместе получается что-то вроде аккорда, который никто не играет. Воздух от этого делается гуще.

Она медленно пошла вдоль стены, скользя пальцами по деревянным панелям, и трость постукивала по полу больше по привычке, чем по надобности. Здесь она бы и без трости прошла с закрытыми глазами.

Только сегодня поле было нарушено. Где-то в нем обра-

зовалась дыра - не пустота даже, а сдвиг, будто в привычном аккорде одну ноту заменили на соседнюю.

Айя остановилась.

- Здесь что-то не то.

- Что именно?

- Стена.

- Стена как стена, - сказал Кирсанов.

- Дайте мне скрипку. Любую, какая под рукой.

- Зачем?

- Увидите.

Гольдберг, до этого молчавший так, что о нем можно было забыть, засуетился и притащил ученическую скрипку - легонькую, с неглубоким тембром, из тех, на которых учат детей и которые не жалко.

- Только вы аккуратно, - сказал он зачем-то.

- Она же дешевая.

- Все равно.

Айя подняла ее к плечу, и смычок лег на струны сам, без участия головы. Она взяла одну ноту, ля на открытой струне, и стала слушать, как та живет в комнате. Звук стукнулся о дальнюю стену, отскочил от стекла витрины, проехался по потолку и утонул в ковре. Обычное эхо. Ничего особенного, кроме одного места: слева от витрины, там, где ему полагалось отразиться от глухой стены, он провалился. Не отразился, а ушел куда-то вглубь, будто за панелью было пусто.

- Там тайник, - сказала Айя и опустила смычок.

- Что? - Гольдберг чуть не поперхнулся. - Какой тайник?

Я тут сорок лет работаю, нету тут никакого тайника!

- Есть. За этой стеной. Полость.

Кирсанов подошел ближе, провел ладонью по стене, постучал костяшками. Звук вышел глухой и совершенно обыкновенный - для него.

- Ничего не слышу.

- Так вы и не слушаете. Вы ждете, что будет громко, а оно тихо. Если знать, что искать...

Она снова подняла смычок и на этот раз сыграла целую фразу, короткую, из какого-то забытого этюда, который в нее вбили в третьем классе и который она с тех пор ненавидела. Звук наполнил зал. И у той стены опять провалился.

- Вот здесь. Стучите.

Кирсанов постучал сильнее, потом еще, потом - Айя услышала - вытащил что-то из кармана, вроде перочинного ножа, и надавил на стык панелей. Хрустнуло.

- Черт, - сказал он. - Тут правда щель.

Дальше пошло быстро. Он позвал кого-то из своих, в коридоре затопали, кто-то приволок ящик с инструментом, кто-то светил фонарем и ронял его два раза. Гольдберг охал и хватался то за сердце, то за витрину. Эрнест Борисович молчал, но дышал часто и тяжело, и Айя все порывалась сказать ему, чтобы он сел. Сама она стояла в стороне, прижав к груди чужую ученическую скрипку, и ждала.

Стену вскрыли минут за десять.

- Ни хрена себе, - сказал кто-то из полицейских и тут же кашлянул. - Извините.

В тайнике лежала скрипка, та самая, с узкой талией. И еще стопка бумаг, бархатная коробочка и несколько старых смычков.

- Господин Гольдберг. - Голос Кирсанова стал ровным, и от этой ровности сделалось неудобно. - Не хотите объяснить, почему в стене вашего магазина тайник, о котором вы не знали, и почему в нем лежит краденая скрипка?

Гольдберг издал странный звук, не то всхлип, не то смешок.

- Это Леня, - прошептал он. - Помощник мой. Он вчера уволился, сказал, другую работу нашел. А я ему ключи от витрины давал, когда уходил. Я думал, он надежный человек. Он же у меня четыре года...

Дальше Айя почти не слушала, потому что ее занимала скрипка. Она подошла и протянула руку, и пальцы легли на дерево - теплое, живое, чуть пыльное. Та самая.

- Можно?

Кирсанов ничего не ответил, но она услышала, как он выдохнул и качнулся с носков на пятки, а так бывает, когда человек вместо ответа разводит руками: делай что хочешь. Она подняла скрипку к плечу и провела смычком. Звук пошел низкий, густой и тягучий, и в нем было что-то знакомое, что-то, что она уже слышала раньше и никак не могла вспомнить где.

И тепло в висках.

«Ты молодец», - сказал голос.

Айя вздрогнула так, что смычок соскочил со струн.

- Я хочу еще раз осмотреть зал, - сказала она, обернувшись примерно туда, где стоял Кирсанов. - Одна. Можно?

Он помедлил, потом отошел к окну и забарабанил пальцами по подоконнику, разглядывая улицу, и это, видимо, означало «можно». Айя осталась посреди зала - с инструментами, с тишиной и с тем, кто в этой тишине жил.

- Кто ты? - спросила она одними губами.

Ответа не было. Потом легкий звон в ушах, потом ощущение, будто ее погладили по голове невидимой ладонью, а потом голос, почти человеческий, но начисто лишенный тембра:

«Я - эхо».

- Эхо чего?

«Эхо всего».

Она постояла еще немного, прижимая скрипку к груди, потом положила ее на столик, выдохнула и пошла к выходу. Дело было раскрыто. Ее собственное только начиналось, и конца ему пока не просматривалось.

На улице опять моросило. Айя подняла лицо к небу, и капли забарабанили по щекам и ресницам, и это было хорошо, потому что в магазине воздух стоял мертвый. Рядом скрипнула дверца машины, и сквозь шум воды пробился голос Кирсанова:

- Анна Сергеевна, вас подвезти?

- Анна. Просто Анна.

- Хорошо.

- И да, подвезите. Заодно расскажете, что было в бархатной коробочке.

Кирсанов хмыкнул и распахнул дверцу пошире.

В машине пахло кожей, табаком и мокрой одеждой. Дворники скребли по стеклу, он вырулил с парковки, задев бордюр, и сделал вид, что не задевал.

- В коробочке? - переспросил Кирсанов. - Струны. Три штуки, кишечные, ручной работы. Судя по всему, покойный муж Розы Львовны когда-то играл. Гольдберг как их увидел, так и замер. Говорит, такие сейчас днем с огнем.

- А вы что?

- А я в этом не разбираюсь. Мне бы Леню найти.

Айя кивнула. Струны ее не занимали совершенно. Занимало то, что там, в магазине, кто-то впервые назвал себя.

- Максим Сергеевич. А бывает, что человек слышит то, чего нет?

Он ответил не сразу.

- Бывает. У меня свидетели такое слышат - вы не поверите. А что?

- Ничего. Просто спросила.

- Ну-ну, - сказал Кирсанов, и было понятно, что он это запомнил.

Больше за всю дорогу она не произнесла ни слова. А где-

то в глубине тихо и, кажется, довольно звенело: эхо, эхо всего. Имя у голоса появилось. Объясняло оно ровным счетом ничего и запутывало прилично.

Ладно. Она спросит его обо всем - только не сегодня. Сегодня она устала.

Глава 4. Эхо

Дождь зарядил на три дня, и все это время Айя просидела у окна, слушая, как вода колотит по жестяному карнизу.

Теперь у него было имя. Не «голос», не «оно» и не «это» - Эхо. С большой буквы, как зовут человека. Объясняло имя, конечно, ровным счетом ничего, но с ним стало легче: когда у вещи есть название, она делается ручнее. В детстве Айя до дрожи боялась грозы, а мама сказала: «Это просто гром», - и страх убавился примерно наполовину. Работал тот же самый механизм, только вместо грома был бесплотный собеседник, живущий не пойми где - между звуком и мыслью.

Отец уехал в командировку, на какую-то конференцию по инженерным сетям, и звонил каждый вечер ровно в девять.

- Ань, ты как?

- Нормально.

- Ела?

- Ела.

- Ну молодец. Тут дождь такой, ты не представляешь.

- У нас тоже.

- А, ну да. - Он замолкал, потом спохватывался: - Ладно, не буду тебе мешать.

Он всегда так говорил, будто она была занята чем-то важным. Айя клала трубку и возвращалась к окну.

Четыре дня одна. Раньше одиночество было ее нормаль-

ным состоянием, чем-то вроде воды для рыбы: она в нем жила и плотности его не замечала. Теперь оно стало неполным, и это оказалось куда неудобнее.

Эхо молчал. Или делал вид, что молчит. Она пробовала звать - мысленно, осторожно, как стучат в дверь, за которой, может, вообще никого. Ответа не было. Приходило только тепло в висках, ровное, как температура тела, и не пропадало ни на минуту.

На третий день дождя Айя решила разобраться. Не с ним - с собой.

Память у нее работала не как у зрячих: картинок она не хранила, только звуки, запахи и шероховатости. И приходило все это не вспышками, а кусками, вроде музыкальных фраз, которые можно отмотать и послушать заново. Она забралась в кресло с ногами, натянула на колени плед и стала мотать.

Самое раннее - кровать. За окном летний дождь, мелкий, будто в стекло горстями кидают горох, на кухне мама гремит посудой, пахнет молоком и чем-то сладким. И вдруг пауза. Не тишина, а именно пауза, в которой кто-то есть, - будто рядом задержали дыхание. Она тогда не испугалась ни капли. Маленькие дети вообще пугаются не непонятного, а громкого.

Наверху хлопнула дверь, и соседка со второго потащила вниз мусор, гремя пакетом на каждой ступеньке. Айя переждала.

Потом были ложки. Года четыре ей, может, и пять - она колотит по столу двумя деревянными ложками, ускоряет, замедляет, и вдруг между двумя ударами кто-то ритм подхватывает и чуть-чуть сдвигает, будто поправляет.

- Ты чего смеешься?

- Ложки танцуют.

- Ну танцуют так танцуют, - сказала мама и погладила ее по голове, и рука была теплая и немножко грустная, если рука вообще может быть грустной.

Лестница случилась в семь. Они с папой спускались, и внутри отчетливо прозвучало: осторожно, ступенька.

- Ты чего встала?

- Ничего.

И перешагнула через выщербленную. Тогда решила, что мысль своя, просто быстрая, - а сейчас, отматывая, зацепилась вот за что. У мыслей есть привкус. Свои шершавые, сомневающиеся, вечно недоделанные, а та была гладкая и точная, как чужая монета в горсти мелочи.

Щелкнул чайник, который она включила полчаса назад и забыла. Вставать было лень.

В девять ангина: температура под сорок, мокрое белье, мама рядом читает сказку. Только Айя слышала не сказку, а гул, ровный и тяжелый, вроде трансформаторной будки во дворе. Гул перекрыл боль в горле, и она уснула, а наутро сказала, что приходил звук и спел ей колыбельную.

- Это жар, солнышко. При температуре всегда что-нибудь

слышится.

Не жар.

Двенадцать вспоминать не хотелось, и она все равно вспомнила. Первая гроза после того, как мамы не стало. Гром - это просто звук, ей объяснили давным-давно, гром не страшный; страшно, что мамы нет, и от этого никакой гул не спасает. Гул все равно пришел, ничего не сказал, просто побыл рядом, и одиночество село на размер, как шерстяная кофта после стирки. Тогда она первый раз подумала про ангела-хранителя, но ангелы, кажется, поют, а этот резонировал.

В пятнадцать был экзамен, Бах, самое трудное из всего, что она умела. Руки трясутся, смычок гуляет - и тот самый доворот, будто кто-то положил ладонь на плечо и поправил осанку. Дрожь ушла. Комиссия хлопала, педагог потом сказал: «Ты сегодня лучше всех играла».

Ага. Только не она.

Собака наверху процокала когтями до двери, потопталась и легла.

В восемнадцать была любовь, куда ж без нее. Парень из параллельного, она его, ясное дело, не видела, но он ходил на репетиции хора, и от голоса у нее сжималось в животе. Разговаривал вежливо, чуть покровительственно - так говорят со слепыми и с маленькими, - и она это слышала, и терпеть не могла, и терпела. Он позвал ее в кафе с живой музыкой, и весь вечер Эхо, тогда еще безымянный, бубнил в висках.

Слов не разобрать, смысл читался: не тот.

Кончилось ничем. Через месяц он сошелся с другой, зрячей, и Айя ревела ночью в подушку, а гул молчал, и злилась она тогда на гул сильнее, чем на парня: от парня-то она ничего особенного и не ждала.

Ну а дальше уже недавнее. Ключи, тетрадь, скрипка. И признание.

Она открыла глаза. Дождь стихал, и все вокруг сделалось громче - капли с карниза, холодильник на своей ноте, город за окном.

- Эхо, - сказала она одними губами. - Я хочу поговорить. Тишина.

- Я знаю, что ты здесь. Ты всегда был. Я не боюсь. Ничего.

- Ну пожалуйста.

И тогда он ответил.

Не словами и не образом, как в тот раз. Он поменял акустику комнаты, и Айя вдруг слышала, что звук ее собственного голоса никуда не делся, а продолжает жить в воздухе - растянутый, будто включили невидимый ревербератор. В этом растянутом звуке прорезался ритм, какая-то последовательность нажимов и провалов, которая почему-то складывалась в смысл.

«Я здесь».

Пальцы сами вцепились в плед.

- Ты... все это время тут был?

«Был. И до того, как ты появилась, тоже был, только тогда мне некому было это сказать».

- Чего же ты ждал?

«Тебя ждал. Пустого канала. У тебя мозг не занят картинкой, а у остальных занят весь, целиком, там ни щелочки нет».

Пустым каналом ее еще никто не называл. Врачи говорили «нарушение обработки зрительного сигнала», учителя - «особенный ребенок», папа - «уникум», и от всего этого ее слегка мутило. А пустой канал почему-то прозвучал как комплимент.

- Ты живой вообще?

«Иначе живой. Я не двигаюсь никуда, я остаюсь».

- Это как?

«Ты бросала камень в воду?»

- Нет. Но про круги знаю.

«Вот я и есть круги. Только вода - это время.

Камень бросили давно, я даже не помню кто. Может, я сам и был камнем. А круги идут до сих пор».

Айя прикрыла глаза и попробовала это представить - не картинкой, картинок у нее не водилось, а ощущением. Круги, расходящиеся от невидимого центра, которые не угаснут никогда, потому что времени хватит на всех. И где-то в этих кругах - сознание. Не человеческое, но думающее.

- Зачем ты мне помогаешь?

«Ты вроде инструмента, а я вроде смычка. Я слышу то, чего ты не можешь, зато ты умеешь сказать вслух, а я нет.

Один я просто вибрация, одна ты просто тишина, а вместе получается резонанс».

- Красиво излагаешь.

«Я старался. Времени потренироваться было предостаточно».

Она фыркнула. Вот тебе и древняя форма жизни - еще и острит.

- А почему раньше так не разговаривал?

«Мозг твой не справлялся, он еще учился. Сейчас справляется, но ты устанешь быстро».

- Я уже устала.

«Тогда спи, я подожду. Ждать я умею лучше всего».

Тепло в висках стало мягче, превратилось в еле заметную пульсацию, почти в колыбельную, и Айя откинулась на спинку кресла с отчетливой мыслью, что больше не боится.

Проснулась она часа через три, с затекшей шеей и отпечатком пледа на щеке. Дождь кончился совсем, и в окно пробивалось не то чтобы свет, а перемена в воздухе: подоконник нагрелся, мокрая листва во дворе запахла иначе. Значит, тучи разошлись.

- Ты здесь?

«Здесь».

- Расскажи про себя. Откуда ты взялся?

«Не знаю. Себя помню всегда, но это „всегда“ началось не тут».

- А где?

«Тоже не знаю».

- Толку с тебя, - сказала Айя.

«Ваш мир был совсем новый, когда я пришел. Тихий такой. Ни людей, ни зверей, ветер и вода, и больше ничего».

- А ко мне как попал?

«Долго искал. У вас ведь уши закрыты, вы слишком много смотрите, и картинка съедает все место. А у тебя было свободно».

Вопросов оставалось еще штук сорок, но усталость возвращалась - не та, что от беготни, а какая-то донная, будто из нее вычерпывали что-то, чего и так было немного. Она спросила последнее:

- Ты можешь показать мне мир? Не рассказать, а показать.

Он молчал так долго, что она успела испугаться.

«Могу, только ты пока не готова. И нужен проводник - вещь какая-нибудь старая, очень старая, чтобы я через нее перевел звук в свет».

- А звук может стать светом?

«Все может стать всем, это люди придумали границы. Звук и свет - одно и то же, просто частота разная. Переводить я умею, устройства нет».

- Какого устройства?

«Узнаешь. Скоро».

- Ненавижу, когда так отвечают.

Он не отозвался, и тепло погасло, оставив после себя слабый гул.

Айя пошла заваривать чай. Руки подрагивали, заварку она просыпала мимо кружки и собирать не стала.

Значит, так. Он не человек и не привидение, а какая-то жизнь, которая живет в волнах. Про физику Айя знала мало, но про стоячую волну он сказал сам, и звучало убедительно. Рядом он с самого ее рождения: занял, как занимают пустующую квартиру, и ждал, пока мозг дорастет. Дождался. Слышит то, чего не слышит никто, причем ушей у него нет вовсе - он сам и есть звук, и чужое колебание чувствует так же, как человек чувствует чужую руку на плече.

И еще он шутит. Вот это пугало сильнее всего прочего.

Айя отхлебнула чай, обожгла язык и тихо выругалась. Эхо в висках фыркнул - она готова была поклясться, что фыркнул, хотя никакого звука не было.

- Ты надо мной смеешься?

«Немного».

- Откуда у тебя вообще чувство юмора?

«У тебя научился. Ты смешно злишься: зубы сожмешь и сопишь, как еж».

- Ты знаешь, кто такой еж?

«Знаю, ты трогала чучело в зоопарке. Колючее».

Она захохотала - впервые за много дней, громко и некрасиво, и смех заметался по пустой кухне.

- Знаешь, - сказала она, отсмеявшись, - а ты не такой жуткий, как я думала.

«Я не жуткий. Я другой».

- Это я уже поняла.

Кружку она домыла и ушла в комнату. Вечер еще толком не начался, а сил не осталось никаких.

- Эхо.

«Да».

- А если я когда-нибудь смогу видеть - ты останешься?

Он молчал долго.

«Не знаю. Картинка съедает частоту, начнешь видеть - и сигнал, наверное, пропадет. Как радио в тоннеле».

Радио в тоннеле она знала прекрасно: папа въезжал в подземный паркинг, магнитола принималась шипеть и глохла, оставался один шум, и папа всякий раз чертыхался так, будто это случилось с ним впервые в жизни.

- Я не хочу тебя терять.

«Ты еще ничего не нашла. Спи».

И она уснула - спокойно, без снов. А где-то на границе, в теплой тишине между вдохом и выдохом, вибрировало чье-то неслышное «спокойной ночи».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.